

Витрина отдела новогодних игрушек была в магазине самой нарядной, и Хохлачёв невольно задержался возле неё. После уличной темени и декабрьской стужи от игрушек, развешанных на четырёх симметричных нейлоновых ёлочках, обвитых мишурой, от коробок с блестящими розовыми шарами, от двух молоденьких продавщиц, в одинаковых картонных кокошниках, в одинаковых магазинных халатиках, подпоясанных пучками разноцветного дождя, исходило ощущение благополучия, тепла и предстоящего праздника, какое испытываешь только в детстве, да и то в пору, когда ещё веришь, что взрослые ночью «встречают Новый год» – краснощёкого мальчишку в вязаной шапочке и свитере, на груди которого красуется четырёхзначный номер.

У прилавка этого отдела, не в пример другим, толпился народ. Одни стояли в очереди за стеклянными шишками, морковка-

ми, сосульками, за картонными зайцами и мартышками, другие, подобно Хохлачёву, глазели на маленькую «непродажную» ёлочку, крутящуюся от тепла нескольких свечей.

– Динь, динь, – тоненько позванивала ёлочка подвешенными к веткам пластинками. – Динь динь, – притягивала она к прилавку взрослых людей звоном из детства. И звон этот чудесным образом растворил стены магазина и перенёс Хохлачёва в далёкие времена к настоящей, остро пахнущей хвоей, ёлке, шестилетнему другу Вовке, одетому Дедом Морозом, и оранжевым мандаринам – фрукту в Сибири редкому, но всегда появлявшемуся в продаже перед Новым годом.

– Хохлачёв, – раздался чуть хрипловатый голос, и кто-то слегка хлопнул его по плечу, вернув из мира грёз на грешную землю декабря тысяча девятьсот девяностого...

Хохлачёв оглянулся и увидел однокурсницу по университету Валерию Валенко. Лерка стояла перед ним, разведя руки в стороны, как бы говоря – «а вот и я». Чёрный жакет, меховая шапочка «высокой сковородкой», ботинки, напоминающие мужские, огромный узел волос на затылке и строгое лицо учительницы делали её похожей на курсистку с известной картины.

– Хохлачёв, – повторила она радостно, – сколько лет, сколько зим? В командировке?

– Да, – ответил он, растерявшись от неожиданности, – а ты ... что здесь делаешь?

– Вот тебе на, что делаю – живу я здесь, помнишь такой анекдот?

– Помню. Ты за игрушками?

– Нет, – небрежно ответила она, приотпнув каблук своего ботинка, – сынула у мамы – ёлку мы не ставили ... Ты, где остановился? В гостинице?

– Да ...

– Домой когда ...завтра?

– Да, – только и успевал отвечать он

– Вот и прекрасно, – тоном, не терпящим возражений заявила она, – пойдём к нам, посидим, молодость вспомним... заодно я тебя со своим охломоном познакомлю...

Предложение было неожиданным, и он замялся:

– Неудобно как-то ни с того, ни с сего...

– Никаких «неудобно», слышишь, Хохлачёв, никаких...

Он понял, что спорить бесполезно. Она осталась той же энергичной до бесцеремонности Леркой Электрическим Веником, с которой Хохлачёв на последнем курсе занимался организацией университетской маёвки. В те времена она, не уступая ему, моталась по коридорам главного корпуса, стены которого были увешаны портретами великих учёных, расписаниями занятий на факультетах, объявлениями и всем тем, что носило название – наглядная агитация. Убеждала в чём-то первокурсников, спорила о

чём-то с комсомольскими боссами, разъясняла что-то студентам из развивающихся стран, и во всём мире не было, пользуясь комсомольским сленгом, вопроса, который она не смогла бы решить.

– Как ты? – спросила она, когда они миновали стеклянную дверь ЦУМа и вышли на огромное крыльцо.

– Как все, – ответил он, – а у тебя... как дела?

– Всё как у всех, – был ответ.

«Хорошо, что так, – подумал он, – а раньше всё было иначе...»

После выпуска Хохлачёв распределился в «район», стал учительствовать и потерял её из виду, точнее сказать, не встречался с ней, хотя знал о её жизни почти всё. Знал, что она долго работала в райкоме комсомола, с возрастом перебралась в профсоюз, вышла замуж, родила ребёнка или родила ребёнка и вышла замуж: здесь не было достаточной ясности, впрочем, кому нужна эта ясность, разве что самой Лерке, которая в универе отличалась строгостью нрава и поэтому не имела подруг среди студенток. На короткие и длинные романы одноклассниц она смотрела так, как смотрит здоровый человек на постоянные недомогания людей больных. Факультетские девицы её за это не любили, распускали о ней невероятные слухи, поговаривали даже, что у неё не все дома. Однако Лерка, несмотря на положение «белой вороны», не «поступалась принципами» ради «гражданского мира» и душевного благополучия, была тверда, как алмаз.

Твёрдость эту называли модным тогда словом – ортодоксальность.

– Качество это у меня от папы, – говорила Лерка, – папа у меня – ортодокс, человек старых правил.

Отец её был крупным начальником. Он строил где-то на Дальнем Востоке атомную станцию, жутко секретную, и сам был на три четверти засекречен, однако о нём зна-

ли все: и друзья, и недруги, и это, отчасти, защищало «белую ворону» от обычной в таких случаях травли. Потом, правда, у неё появилась настоящая защита – друг – не из наших. Он был штангист, мастер спорта, «лёжа жал двести килограммов и был вхож во все сауны и рестораны города». Его мало кто видел: всё время он пропадал на сборах и соревнованиях, но могучая тень этого атлета всегда находилась рядом с Леркой и спасала её даже от атак сыновей чилийских политэмигрантов, обучавшихся на факультете журналистики и не придерживавшихся норм морали страны пребывания.

От ЦУМа шли тёмной улицей. Впрочем, где сейчас есть светлые: по всей стране словно хулиган с рогаткой прошёл. У вино-водочного огромная очередь. Обойти её невозможно, и они пошли сквозь неё, в середине толпы их притиснули друг к другу...

– А помнишь... – сказала она, когда они миновали живое препятствие.

– Конечно, – отвечал он, не ожидая конца фразы, потому что вспомнить что-либо другое не мог: в объятиях друг друга они были только один раз, когда, не спавшие двое суток подряд, после акций солидарности с молодёжью Латинской Америки, сбора средств в поддержку голодающих континентальной Африки, сжигания чучела империализма, оглохшие от речей, песен, криков, скандирований студентов-иностранцев: «Пака мы – эдын, мы – не победим», поняли, что маёвка благополучно подошла к концу, и, обняв друг друга, плакали у самодельной трибуны, на которой секретарь университетского комсомола подводил итоги мероприятия.

На соседней улице, куда они свернули, было несколько фонарей. Их свет укрупнял её мужские черты лица, и она напоминала ему какой-то литературный персонаж...

– Что смотришь? – перебила она его мысли. – Постарела я, да?

– Ну что ты, – сказал он, – разве ты можешь постареть: в тебе энергии...

– Энергии... – передразнила она его, – молчи уж... Мы почти пришли... – И она показала рукой на девятиэтажку, до которой было добрых двести метров...

Остальной путь проделали молча. В подъезде она прошла мимо лифта, двери которого были разрисованы гвоздём, и стала подниматься по лестнице. Остановилась у дверей третьего этажа.

– Третий, – сострил он, – блатной...

– Элитарный, – поправила она, – так и должно быть: жена – профбог, муж – кандидат наук...

Открылась дверь, щёлкнул выключатель, но свет не зажётся.

– Ой, совсем забыла, лампочка у меня вчера перегорела...

– Давай вкручу, – успокоил он, – если есть, конечно...

– Есть, есть, – ответила она торопливо, будто он мог передумать, и стала шарить в сумочке, – электрики наши из-под полы продают, рубль – штука... это ещё по-божески, не знаю, подойдёт ли? Мой охламон всё в библиотеках сидит, да по лабораториям мотается, кандидатскую защитил, передохнул немного, а сейчас взялся материал для докторской собирать... материал-то собирает, а лампочку достать не может.

– Стоит ли говорить о лампочке, – пошутил он, – ты скоро станешь профессорской женой, и лампочки тебе будут вкручивать молодые соискатели...

– Да хватит тебе, – сказала она так, как будто он только и делал, что говорил о её будущем «профессорстве», – держи лампочку.

Взяв лампочку, Хохлачёв подождал ещё немного, пока глаза окончательно привыкнут к темноте, дотянулся до патрона...

– Высокие мужчины, – сказала она, – всегда были моей слабостью... мой охламон

тоже с коломенскую версту... альпинист, между прочим...

Резанувший по глазам яркий свет прервал её, он же осветил коридор. В котором обнаружили большое овальное зеркало, прибитое к стене, антресоли, огромный плетёный ящик, в каких хранят грязное бельё, и вешалка без одежды: она косо висела на одном гвозде над полкой для обуви.

– Не обращай внимания, – сказала хозяйка, заметив, что гость дольше чем надо смотрит на вешалку, – это удел всех «профессорских» жён... там деревяшка какая-то выпала... брось пальто на ящик...

Хохлячёв так и сделал, но потом его словно бес попутал.

– В этом доме найдутся деревяшка, нож и молоток? – спросил он не без ехидства.

Хозяйка пожала плечами, «если тебе так хочется», и ушла на кухню. Там она долго что-то искала и наконец снова появилась в коридоре, держа в руках нож и молоток, правда вместо деревяшки принесла веник с деревянной ручкой.

– Какой никакой, а мужчина в доме всё же есть, – сказала она и снова скрылась за кухонной дверью.

Молоток, который принесла хозяйка, был ржав, и возникало подозрение, что хранится он рядом с протекающей раковиной, нож – туп, зато ручка от веника, точнее не ручка, а тонкая деревянная палка, на которую он был неумело насажен, была «то, что надо».

– Лера, – сказал он громко, – мне бы ещё газетку, чтоб особенно не сорить.

– Возле дверей старые, – ответила она, не выходя из кухни. Хохлячёв расстелил газету на полу, замерил на глаз отверстие в стене, подстрогал конец веника-метлы, долго отрезал пробку тупым ножом. Отрезав, привёл в божеский вид конец палки и забил пробку в стену. На счастье, пробка не раскололась и «села» в стену прочно. Он

вбил в неё гвоздь, повесил вешалку, машинально отметив, что на полке для обуви нет ничего мужского, если не считать огромных тапочек сорок пятого размера. Размер подтверждал габариты будущего доктора наук.

– Хозяйка, – позвал, – принимай работу и ставь магарыч.

Появившаяся хозяйка на вешалку даже не взглянула. Она собрала стружки в газету, взяла веник, нож, молоток, сказала:

– Проходи в комнату – я скоро, – и опять скрылась на кухне. Обиженный невниманием, Хохлячёв подошёл к закрытым дверям и ляпнул:

– Видишь, в чём преимущество неостепенённых учителей истории перед докторами наук?

– Кандидатами, кандидатами, – поправила она, приоткрыв дверь и высунувшись в коридор, – иди в комнату, я скоро, дай же и мне сделать тебе сюрприз.

Сказав это, она кокетливо улыбнулась. Улыбка эта заставила увидеть то, чего он не заметил раньше. Перед ним была уже не та Лерка Электрический Веник, какую он знал в универе, и не та дама – «официоз» в юбке, какую он видел полчаса назад. Скорлупа «официоза» ещё не спала окончательно, а только дала трещину, но то, что под этой скорлупой находится живой цыплёнок, который не преминет появиться на свет, было несомненно.

Он прошёл в комнату, зажёл свет. Там тоже было «всё как у всех»: раскладной диван, он же, видимо, кровать, письменный стол, шифоньер, стеллаж с книгами, целлофановый мешок с детскими игрушками в углу. На стене большая фотография мальчишки лет трёх-четырёх, очень похожего на Лерку. У мальчишки большие глаза, в них любопытство и ожидание. «Птичку» пообещали... как же – жди, обязательно вылетит. Да такая, что твой птеродактиль, успевай только уворачиваться, чтобы в темя не

клюнула», – подумал Хохлачёв и уселся на диване.

Ждать пришлось недолго: через пять минут в комнату влетела Лерка, потребовала, чтобы он закрыл глаза. Чем-то шуршала в шифоньере, затем исчезала, позволив ему смотреть на свет белый уже из ванной, а ещё через пять минут раздалась команда мыть руки и проходить к столу.

Когда он вышел из ванной – дверь на кухню была открыта.

Стол, к которому нужно было проходить, располагался посредине маленького помещения, где кроме него были: холодильник, электроплита, раковина и два деревянных пенала для посуды. В центре стола, устремив к потолку острое горлышко, стояла бутылка коньяка «Белый аист». Салат, колбаса, яблоки и хлеб были разложены в хрустальные вазочки и блюда. Две тарелки явно заводного производства с какими-то немислимыми вензелями на дне размещались по обе стороны стола, рядом с ними лежали мельхиоровые ножи и вилки. Но всё это было только одной частью «сюрприза». Другой его частью была сама Лерка – в длинном тёмно-вишнёвом платье, с незнакомой причёской, лисий хвост которой свешивался через плечо, с подведёнными тушью глазами и неестественно яркими губами.

Улыбка, промелькнувшая у неё четверть часа назад, теперь прочно утвердилась на её лице и венчала ужинное великолепие.

Ошарашенный увиденным, он попытался сказать комплимент, но вдруг произнёс:

– Ну ты даёшь – сейчас твой заявится, а жена пьянствует с посторонним мужчиной, вот будет картинка!

– Во-первых, – поправила она, – не посторонним. Я Юре о тебе много рассказывала...

– Он что... наш, универовский?

– Нет, он приезжий, но он современный человек, да и, в конце концов, у меня тоже могут быть друзья, гости, я же не спраши-

ваю у него отчёта, когда задерживается, и не устраиваю ему разносы за лёгкий флирт с лаборантками...

– Может, всё-таки подождём?

– Нет, нет, – категорически сказала она, – всех не переждёшь, да и горячее стынет, садись, разливай, первый тост – за встречу...

Через пару часов, когда большая часть бутылки перекочевала в их желудки, согрела души, развязала языки, разговор принял оживлённый и вместе с тем сентиментальный оттенок, она снова спросила:

– Как ты-то?

Он тут же вспомнил школьные проблемы, семейные неурядицы, но и не стал жаловаться на жизнь, ответил её же словами: как все.

– Как все, – значит, плохо... Ты ещё не директор школы?

– Нет, – ответил он ерничая, – я умру завучем: не в директорстве счастье... и закончим об этом. Давай лучше выпьем за альма-матер и наше время...

– Наше время, – сказала она, отодвинув от себя рюмку и, подперев подбородок руками, начала петь:

*Росу золотую склевала синица,
Над южным болотом струится рассвет.
Мы снова уходим, и снова Синильга
Берёзовой веточкой машет нам вслед...*

– Слушай, Хохлачёв, и лет прошло-то всего ничего, а кажется, что всё это было в прошлом веке... У тебя нет такого чувства?

Такого чувства у него не было. Мужчина в тридцать семь ещё не ощущает ушедшей молодости, и он так и ответил:

– Нет, – и начал рассуждать, что ему некогда так думать: он замордован работой, и подобные мысли рядом с его головой и не ходят, а потом зачем-то добавил: – К слову... меня Анатолий зовут... можно просто Толя...

Но она не почувствовала колкости и сказала:

– А мне приходят... приходят...

Ему стало неловко, он бросил взгляд по сторонам, посмотрел на часы:

– Пойду я, времени уже много...

– Посиди ещё, – будто очнувшись от чего-то сказала она, – что ты будешь делать в своей гостинице, да и мой охламон вот-вот заявится – неудобно вам будет в коридоре встречаться...

– Да, действительно, – согласился он, – будет хохма...

И они, успокоившись, вновь возвратились к времени своей молодости, которая, казалось, ещё вчера была рядом, а вот теперь – отделена от них расстоянием в полтора десятка лет.

– Слушай, Хохлачёв, – произнесла она вдруг с пьяной капризностью, – а почему ты в универе меня не замечал, а?

– Ну что ты, – отшутился он, – разве тебя можно было не заметить: ты была... везде, как... Фигаро...

– Ага, – криво усмехнулась она, – Фигаро... скажи уж – веник...

– Да и потом, – попытался поправиться он, – у тебя был твой штангист...

– Штангист, – скривила рот она, – А ты бы взял и отбил меня у штангиста...

– Ну что ты, Лера, – изворачивался гость. – я по сравнению с ним – ничто: он лёжа жал двести килограммов...

– Двести килограммов? – переспросила она, видимо забыв свои же слова, – причём здесь двести килограммов, причём?

И, словно спохватившись:

– Ты не обижайся на меня, Хохлачёв, это я так... Не обижаешься?

– Нет.

– Ну и ладненько.

– Двенадцать уже, – сказал он, – мне пора...

– Двенадцать? – без всякой игры удиви-

лась она и с этой секунды вновь стала сама собой. – Как быстро летит время... да куда ты сейчас пойдёшь, ты с ума сошёл... на улицах хулиганы, я тебя в такую позднень не отпущу... Ты будешь ночевать у нас... И никаких «но», слышишь, никаких. А Юрка появится – я ему, во-первых, головомойку устрою, а во-вторых, всё объясню. Да ты не бойся – он у меня мужик смирный... Нам всё телефон не поставят никак... был бы телефон, он, конечно, позвонил бы, сообщил, что задерживается... И это правильно: время смутное, лучше уж у друзей переночевать, чем ночью по городу идти...

– Да нет, – слабо сопротивлялся он, – я пойду...

– Перестань, пожалуйста, я тебе здесь постелю: сам понимаешь – другой комнаты нет. Раздевайся, устраивайся... я дверь закрою, и не казни себя, что с глупой бабой связался, будь как дома. Юркины друзья у нас всё время ночуют.

Говоря это, она быстро убирала посуду со стола, составляла её в раковину, шла в комнату. Принесла в охалке тонкий полосатый матрас, простынь, одеяло, подушку.

– Отдыхай... спокойной ночи...

После её ухода Хохлачёв постелил на полу матрас, разделся, бросил одежду на табурет, улёгся на матрас и натянул на себя одеяло. Луна, заглядывая в окно, освещала кухонную утварь, рисовала на стене изломанный квадрат от холодильника, лебединный изгиб от стояка раковины. Слышно было, как в комнате устраивалась на диване Лерка... Возбуждение вечера постепенно проходило, волны тепла шли от батареи отопления, глаза Хохлачёва начали смеживаться и закрываться, однако скрип двери заставил открыть их. В проёме стояла Лерка.

– Не холодно, – спросила она и, подогнув под себя ноги, присела на край одеяла. – А я замёрзла... – потом легонько как

делают дети, ткнулась губами в его щёку и сказала: – Ты не бойся: он уже не придёт... уже поздно, не бойся. – И, словно защищая от опасности, которая ему грозила, и которой он боялся, погладила по голове и произнесла шёпотом: – Поседел-то как... Толя...

Она ровно посапывала на его руке, а он спал тревожно, вполглаза, как диверсант в тылу врага, часто просыпаясь... Открыв глаза в очередной раз, долго соображал, где находится, потом посмотрел на её профиль и понял наконец, что похожа она на персонаж сказки Гофмана. Лунный свет, удлинив её черты, «дотянул» их до образа Щелкунчика, заколдованного юноши, расколдовать которого должна любовь... Но это в сказке – в жизни всё наоборот... и она навсегда останется Щелкунчиком...

Утром она подала ему завтрак: кофе, два бутерброда, остатки вчерашнего пиршества. Подперев подбородок руками, смотрела, как он давится, торопясь закончить завтрак побыстрее и уйти... Потом проводила его до дверей, выглянула в коридор: избави Бог, чтобы кто-нибудь из соседей увидел, как от неё, замужней женщины, выходит утром мужчина. Когда он переступил порог, сказала:

– Не казни себя... не надо... договорились?

– Договорились...

– Будешь в командировке – заходи: квартиру мою... нашу знаешь...

– Угу, – ответил он невнятно уже с лестничной площадки.

Отойдя немного от дома, Хохлачёв оглянулся, нашёл глазами её окно, но в нём никто не стоял, не махал ему рукой, не посылал воздушных поцелуев...

«И всё же хорошо, что у неё «всё как у всех», – подумал он, – у неё – работа, квартира, сын, муж, который ещё два года назад ходил в соискателях, а теперь, гляди-ка, кандидат наук и на докторскую замахивается: способный, уверенный в себе мужчина».

Впрочем Лерку всегда окружали «выдающиеся» люди, правда все они плохо кончили... Вот и Юрку-охламона ждёт незавидная судьба погибнуть от «взрыва реторты» либо «без вести пропасть при восхождении на Тянь-Шань»: всё будет зависеть от Лерки, потому что никакого Юрки в природе не существует, как не существовало когда-то папы – крупного хозяйственного работника и друга-штангиста, о котором все знали, что он «лёжа жмёт двести килограммов и вхож во все сауны и рестораны города».

